

## О ПРИНЦИПАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРЫ

*В статье рассматривается процесс перевода фактов культурного бытия в исторические описания – свидетельства. Анализируются рационалистические, семантические и феноменологические подходы к формированию исторических описаний и анализу информации, в них содержащейся. Рассматриваются различия между рационалистическим историческим дискурсом и процессом изучения описаний культурной жизни, исходящих из единства фактичности бытия и познавательной способности исследователя.*

К. Kurlenya

## PRINCIPLES OF HISTORICAL CULTURE DESCRIPTION

*The transference process of cultural existence facts into historical descriptions is considered in the article. The author studies rationalistic, semantic and phenomenological approaches to formation of historical descriptions and to analysis of information contained in them. The article also covers the distinctions between the rationalistic historical discourse and study of cultural life descriptions, which come from the unity of reality and researcher's cognition.*

### Свидетельства

Очевидное соображение, что факты, интересующие исследователя истории, не могут быть предъявлены в его работах в своем реальном состоянии, поднимает вопросы о методах их преобразования в исторические описания. *Так в поле зрения попадает проблема исторического свидетельства.* Язык, опосредуя фактическую множественность бытия, превращая ее в совокупность разрозненных или, напротив, взаимообусловленных высказываний, сообщает последним свойства рядоположенности, и независимости от масштаба и сути исходных референтов. Другими словами, единственно возможный способ придать факту, непосредственно воспринимаемому в качестве фрагмента объективной действительности, свойство историчности – это превратить его в свидетельство посредством соответствующих процедур научного описания. Поэтому справедливо считать, что наращивание исторического знания в немалой степени как раз и происходит за счет поиска способов того, как для поддержания исторического дискурса использовать очередной жизненный факт, который остальным ученым казался бесполезным или незначительным.

Но из этого следует, что, *во-первых*, факт и историческое свидетельство имеют принципиально различную природу. *Во-вторых*, история, имея дело со свидетельствами, в общем и целом опирается в своем изложении картины мира не на факты, а как раз на свидетельства, т. е. описания фактов. Стало быть, полнота и точность этих описаний имеют решающее значение для формулирования исторической истины. Появляется очевидный соблазн провозгласить первичность свидетельства и вторичность факта, во всяком случае, не исключено, что нашлись бы историки, которые с пониманием и одобрением отнеслись бы к такому шагу, хотя имеется гораздо больше веских причин не поддаваться искушению.

Итак, «в известном смысле вопрос об объективности факта – это вторичный вопрос, – пишет Н. Мулуд, – ибо именно предложение, как таковое есть первый логический объект <...> имеется несколько причин для того, чтобы сделать предложения, которые выражают факты, исходным пунктом лингвистического и семантического анализа»<sup>1</sup>. Если следовать только что воспроизведенной позиции, то все содержание истории из сферы действительной фактологии перемещается в область тек-

стов. И, соответственно, исторический дискурс синхронно мигрирует в область семантического анализа. Но целью такого анализа является извлечение смысла из некоторой суммы высказываний, а не установление осмысленного характера действий некоторых лиц, удостоверенных в сфере наличного бытия через известное множество фактов. Кроме того, если верно, как утверждает Куайн<sup>2</sup>, что от фактов нельзя всерьез ожидать помощи при объяснении истины, и что поиски критериев тождественности фактов наталкиваются на ряд серьезных затруднений, которых вряд ли необходимо здесь касаться, то справедливо и противоположное утверждение. А именно: поиск критериев информационной тождественности фактов своим описаниям (предложениям, свидетельствам) наталкивается на столь же значительные трудности.

Тем самым, проблема исторического свидетельства — непременно объекта исторического анализа — очерчивает область спора между тремя противостоящими позициями: *феноменологическим анализом бытия как личной экзистенции свидетеля событий, логическим позитивизмом, переводящим проблематику истории в плоскость логико-семантического анализа, и классическим рационализмом с присущими ему онтологическими посылами и концепцией истины, неизменно опирающейся на некоторые абсолюты*. Причем число последних в ходе логических процедур объяснения и анализа, как правило, не уменьшается, потому что на место одних приходят другие. И это лишь начало, поскольку речь идет пока только об уточнении позиций.

Прежде чем набросать собственную версию истории, исследователь накапливает свидетельства, эти специфические знаки, удостоверяющее прошедшее. Их качество всегда разнородно. Они то демонстрируют твердую опору очевидца на свое личное знание подлинных реалий, то выражают, скорее, восторженную доверчивость ученого всесильному Провидению. Но, как бы там ни было, значение свидетельств, каким

бы ни оказалось их содержание в каждом конкретном случае, для истории невозможно переоценить. С их помощью, на их основе, при их первичной данности, подчас провоцирующей инициативу исследователя, осуществляется весь исторический дискурс. Со свидетельств начинается поиск всеобщего социально значимого смысла, поиск самого сокровенного знания человечества о своей природе и целях существования.

Сторонники рационально-эмпирических взглядов имеют достаточно оснований считать, например, что, в принципе, любой воспринимаемый факт потенциально годится на роль исторического свидетельства, если он соответствующим образом удостоверен и задокументирован. Однако после такого утверждения рано или поздно появляется существенная оговорка, что упомянутый факт становится свидетельством лишь в той мере, в какой может быть использован в рамках принятой исторической концепции.

С целью проиллюстрировать этот тезис, укажем на некоторые примечательные места из полемики, развернувшейся между О. Сулейменовым, автором нашумевшей в свое время книги<sup>3</sup>, и Д. Лихачевым. В ходе критики советской академической истории и историографии О. Сулейменов вспоминает о капитальном труде академика Б. Грекова «Киевская Русь», где в предисловии имеется весьма характерное утверждение, которое необходимо процитировать: «И письменные и неписьменные источники к нашим услугам. Но источник, какой бы он ни был, может быть полезен лишь тогда, когда исследователь сам хорошо знает, чего он от него хочет»<sup>4</sup>. Из приведенного высказывания Б. Грекова О. Сулейменов немедленно делает вывод о намеренно предвзятом, искаженном, даже фальсифицированном подходе к источникам и свидетельствам, на которых построена картина отечественной истории в трудах авторитетного и уважаемого академика. Будто бы, если необходимо получить от свидетельств «четкую» картину, историк трактует их соот-

ветственно, если же по тем или иным причинам требуется картина фальсифицированная — результат может быть сфабрикован без существенных затруднений. Словно бы вопрос о применении свидетельства в историческом исследовании — всего лишь проблема личного выбора и совести автора. От такой критики пахнет скандалом, переводящими полемику из области исторической методологии в сферу научной этики, для чего у О. Сулейменова, безусловно, нет никаких оснований.

Любопытно и то, как парирует этот «выпад» Д. Лихачев: «Метод, конечно, неправильный, если принять толкование слов Грекова Сулейменовым, но, к счастью, Б. Греков сам такого рода «метод» не применял»<sup>5</sup>. То есть, ученый стремится вернуть полемику именно в русло методологической дискуссии. А между тем метод сам по себе не настолько уж «неправильный», больше того, в рационалистической традиции ему нетрудно подыскать фундаментальные, развернутые обоснования. А вот представление О. Сулейменова о познавательных возможностях этого метода, безусловно, ошибочно. И не удивительно, ведь оценку последних он увязывает не с методом как таковым, а с личностными свойствами ученого, приверженного этому методу. Потому он и начинает свою критику не с анализа познавательных, объяснительных и прогностических процедур, присущих методу как таковому, а с подозрений в коварстве и научной нечистоплотности всякого, в чьи руки попадает этот «неправильный» инструмент познания.

Вскользь затронутая Д. Лихачевым проблема и сегодня продолжает сохранять подчеркнутую дискуссионность. И в рамках рационалистического учения о свидетельстве получается, что историк действительно пользуется фактами как свидетельствами *именно в той мере, в какой он может дать им интерпретацию*. Каким же образом эта интерпретация возникает? Об этом со всей прямоотой и откровенностью пишет Р. Дж. Коллингвуд: «Но историк не может

пользоваться им [свидетельством. — К. К.] до тех пор, пока не будет располагать необходимыми историческими познаниями. Чем большим историческим знанием мы обладаем, тем больше мы можем узнать от любого конкретного предмета, выступающего в качестве свидетельства. Если же эти знания полностью отсутствуют, мы ничему не можем научиться. Свидетельство оказывается свидетельством лишь для того, кто смотрит на него исторически»<sup>6</sup>. Очевидно, что логика этого рассуждения в который раз заводит историка в методологический тупик: чтобы истолковать очередной факт как свидетельство, необходим исторический взгляд, который возможен, если уже имеется опыт исторического толкования, возникший на основе интерпретации предшествующих фактов, ставших, таким образом, свидетельствами. Но как тогда возникали исходные, первые исторические толкования фактов? Для этого необходимо допустить, что так называемый исторический взгляд на действительность всегда предшествует превращению факта в свидетельство! Оказывается, первичная эмпирическая природа факта отторгается логической процедурой включения факта в причинную цепь, удостоверяющую осмысленный характер действий и связанную с ней совокупность реальных событий. Выходит, что историческое мышление проистекает не из фактов, ставших достоянием истории, а лишь из самого себя.

Чтобы вырваться за пределы этого серьезного затруднения, неизбежного в рамках принятой логики, Коллингвуд прибегает к известному приему, многократно испытанному в рационалистически ориентированной теории познания. Именно, совершается невозможный с точки зрения исходных логических принципов «скачок» — историчность мышления из сферы методологии познания переводится в плоскость онтологии и объявляется врожденной идеей, априорно присущей человеку.

По иному формулируют учение о свидетельстве сторонники логического пози-

тивизма. Исходя из того, что каждое свидетельство выражено на определенном языке и относится к классу правильно построенных языковых выражений, они фактически постулируют специфическую двойную рациональность. Причем последняя совершенно не зависит от того, признается ли историческая специфичность высказываний, образующих интересующие нас свидетельства, или мы относим их к обыденным констатациям фактов. То есть дальнейшие аналитические процедуры распределяются между референциальными отношениями исследуемых высказываний и собственным логико-семантическим потенциалом языковых выражений, имеющих свои, автономные ресурсы смысла, независимые от действительных референциальных полей.

Если принять такое разграничение, то проблема свидетельства обнажает как будто бы чистые языковые истоки. И тогда ее можно переформулировать, прибегнув к задаче нахождения и интерпретации смысла, как ее поставил Н. Мулуд. Полагая, что раз свидетельства являются подмножеством языковых высказываний, то к ним применимы общие аналитические подходы, в рамках которых необходимо исследовать, «полностью ли реализуется значение правильно построенных выражений языка в связях знаков с обозначенными объектами или оно включает — хотя бы частично — внутреннюю связь знаков или комплексов знаков с полагаемым ими смыслом?»<sup>7</sup>. Именно в выборе ответа на поставленный вопрос со всей определенностью проступают различия между приверженцами номинализма и эмпиризма, с одной стороны, и идеальной рациональности — с другой. Есть также посредничающие концепции прагматического толка, которые через обоснование и введение конструкций операциональной логики в общую концепцию смысла высказывания стремятся к восстановлению взаимосвязи между смыслом, выраженным посредством знаков, и смыслом действия.

Поясним суть этого подхода на конкретном примере. Характеризуя развитие музыкальной культуры Сибири в послевоенный период, авторы трехтомника<sup>8</sup> небезосновательно формулируют утверждение, что становление и дальнейшая эволюция музыкальной жизни сибирского региона в течение продолжительного времени происходили в русле общих тенденций, характерных для советской музыки тех лет. Внутренний смысл фразы, если отталкиваться от языковой формы его выражения, со всей очевидностью сообщает, что так называемые «общие тенденции» являются единственным и самодостаточным импульсом того, что обозначено как становление и развитие сибирской музыки. Деятельность людей, ответственных за реализацию этого, во многом точно отраженного положения вещей, в высказывании не выявляется. Связь между частями высказывания подразумевает однозначное логическое построение: из А следует В. Обратная связь не предусматривается, а это — уже существенное расхождение с реальной исторической картиной. На самом деле, личность художника всегда в какой-то мере требует уважения самодостаточности, отвергает безоговорочную обязательность вхождения в какую-либо тенденцию, демонстрирует естественное стремление предъявить обществу свою индивидуальность через противостояние всякого рода влияниям.

Далее, референциальное поле, включающее в себя два достаточно обобщенных культурно-исторических концепта — общие тенденции советской музыки и развитие региональной музыкальной культуры, — подразумевает закономерную связь между ними, описываемую как соотношение общего и части, причины и следствия. Тем самым, устанавливается картина стройных функциональных отношений, которые подкрепляются *неизбежной тавтологичностью всех возможных впоследствии отсылок к свидетельствам*, иллюстрирующим логику разбираемого утверждения. Аргументация будет иметь, соответственно, следую-

щий вид: если исходное высказывание соответствует действительности, то его равно подтверждают свидетельства X, Y, Z, поскольку все они являются производными от исходной функциональной зависимости между A и B.

Обратим внимание, что в смысле весомости аргументы X, Y, Z, подтверждающие общее положение «из A следует B», для понимания смысла исходного высказывания остаются равновеликими, хотя на самом деле могут подразумевать явления, вовсе не однопорядковые по масштабам и художественной ценности. Но коль скоро они подтверждают исходный тезис, то оказываются тем не менее рядоположенными, что также не гарантирует соблюдения исторических реалий. Таким образом, выясняется, что правильно построенное исходное высказывание даже при условии частичного совпадения смысла, инициированного языковой формой его выражения, с реальным положением вещей не защищено от существенных искажений связи, усматриваемой между реальностью и формой ее представления в утверждении историка. Смыслы, извлеченные посредством такого анализа высказываний, не всегда будут иметь для истории абсолютный вес. Хотя, следует признать, что с помощью рассматриваемых методов иногда целесообразно проводить ревизию не только исторических свидетельств, но и всей конструкции дискурса, предпринимаемого историком.

В соответствии с дальнейшим применением логико-семантических подходов, следовало бы перейти к анализу возможных интерпретаций исходного выражения, произведенного средствами языка (в данном случае – естественного языка, а не формализованного языка науки). Усилия, предпринимаемые в этом направлении, должны направляться в дальнейшем по двум взаимообусловленным ракурсам: исследование обозначений, существенным образом зависящее от выбора интерпретирующей позиции (понятия истинности и т. д.), и исследование смыслов – наличных и по-

тенциальных, обусловленных возможностями внутренней формальной организации языка. Как видим, эта часть анализа уходит из сферы референциальных отношений и тем самым вводит в трактовку истин принципиальную относительность. То есть, требует переосмысления содержания истин с позиций языков, в которых они сформулированы, вместе с их логическими структурами и их референциальными полями. Эта задача усложняется по мере того, как повышаются требования к строгости различения между логическими истинами, контролируемые лишь правилами кодификации исходного языка, и истинами фактуального плана.

В итоге, обсуждение проблемы свидетельства из области реально воспринимаемой связи между событием и его описанием замыкается на способе выражения смысла как таковом, поскольку воспроизвести связь между высказыванием о произошедшем событии и самим событием после его окончания можно только средствами языка. И подтвердить истинность этой связи повторным воспроизведением события невозможно. Стало быть, если оно принципиально не верифицируемо, всегда остается сомнение в его истинности. Следовательно, анализ свидетельств на уровне их связи с породившими их событиями далее невозможен. И дискурс вынужденно переходит в план «второй» рациональности, когда анализируются исключительно языковые выражения, консолидированные в свидетельства. Здесь основная тема семантического анализа – проблема истинности и выбора интерпретирующей позиции – получает, наконец, необходимую доказательную устойчивость. Но историка этот срез проблемы свидетельства может интересовать, скорее, косвенно. Дальнейший структуралистский анализ исторических текстов не способен вывести к пониманию сущности реальных процессов, поскольку он находит в этих структурах лишь то, что сам же в них и вкладывает. Вновь последовательная ревизия методологических концептов, распро-

страняемых на историю, обнаруживает смысловой тупик. Но на этот раз он связан с угрозой вытеснения реальности из сферы анализа исторических свидетельств и возникающим ощущением невозможности истории как науки о реальных событиях и общественных отношениях.

Так не броситься ли вспять от этого пугающего нагромождения логических конструкций, не отвергнуть ли их в пользу обретения бесхитростного контакта с миром, с тем, чтобы в дальнейшем придать ему философский статус? Тогда таинство «вживания» в ту или иную историческую ситуацию вернет ей свойства реальности. Появится возможность почувствовать дыхание времени. Но это будет означать, что сущность исторического события или процесса может быть понята только исходя из их фактологической природы. Для такого подхода к историческому знанию свойственно представление, что реальность всегда предшествует рефлексии, всегда осознается как неустранимое присутствие. И тогда категория исторического свидетельства, переживаемого в сознании историка, окрашивается в тона личного свидетельства, становясь основой всякого знания о реальной жизни. Можно дискутировать, насколько такое знание будет совпадать с критериями объективности исторического описания. Однако невозможно не согласиться, что возвращение истории к проблеме жизненного опыта, с некоторым запасом которого к ней подходит каждый исследователь, открывает перед историческим знанием новые возможности. И пусть в данном случае личный опыт ученого еще не получает статуса объективированного исторического опыта, но все же он определенно поворачивает нас вспять, к теме взаимосвязи факта и свидетельства.

Постараемся уяснить, что нового вводит феноменологический мотив в общую полемику о свидетельстве. Как пронизательно заметил М. Мерло-Понти, «Эмпиризм не может взять в толк, что мы испытываем потребность понять то, что мы ищем, без

чего мы бы этого не искали; интеллектуализм не может взять в толк, что нам нужно оставаться в неведении относительно того, что мы ищем, иначе опять-таки мы бы этого не искали»<sup>9</sup>. В противовес этим «разведенным» установкам познания феноменологическое стремление к обретению сущности бытия концентрируется на некоем мыслительном поле, возникающем у всякого вдумчивого наблюдателя жизни. Тем самым феноменология предпринимает собственную оригинальную попытку стяжать ценность осознания бытия, поставить субъекта познания в новое отношение к действительности.

И осуществляется эта, внешне наивная, но на самом деле весьма сложная, изощренная рефлексия как раз на основе интерпретации эмоционально окрашенных свидетельств — как личных, так и воспринятых в качестве непосредственно данных первоисточников. Причиной появления исторического знания становится именно восприятие — синтетический акт, в котором вместе с некоторой совокупностью данных появляется и смысл, ответственный за их взаимную увязку. Принципиально важно, что этот смысл не только впоследствии открывает нам, какое значение имеют исходные данные, он с самого начала выступает гарантом, что они вообще имеют увязку с восприятием через процедуру осмысливания. Тем самым мы возвращаемся к так называемой естественной установке, главный постулат которой — о единстве фактичности бытия и познавательных способностей субъекта — еще не разрушен собственной внутренней диалектикой.

Итак, критерии научности в отношении исторического свидетельства должны удовлетворять весьма многообразным требованиям, исходящим из сферы методологии, а также оставаться согласованными с масштабами и спецификой объекта изучения. Таким образом, интеграция многочисленных аспектов проблемы исторического свидетельства в том виде и объеме, в каком они были здесь предложены, уже образует

некоторый позитивный результат, из которого в дальнейшем можно будет извлечь следствия, направленные на дальнейшее уточнение научного подхода в его отношении к конкретным темам и предметам исследования.

### *История – дискурс или нарратив?*

Итак, дискурс или нарратив – вот, пожалуй, наиболее точно сформулированная альтернатива, без учета которой определение предмета истории зачастую вовсе теряет смысл. Придерживаться альтернативности этих подходов или пытаться преодолеть очевидные противоречия, взаимно отдаляющие их? Согласиться с мнением, что дискурсивные методы остаются прерогативой рационализма, а наррации – областью феноменологических и постмодернистских воззрений на историю, философию и культуру, или продолжать ревизию описательных и аналитических принципов, присущих обоим познавательным подходам? Очевидно, что прямолинейное противопоставление постмодернистских воззрений традиционным методам рационализма, личностной версии рассказчика и исторического контекста – объективности и логоцентризму непродуктивно и в известной мере бессодержательно, поскольку провоцирует на чистую спекуляцию, лишённую какой-либо связи с предметом исследования. Однако расставить акценты в вопросах взаимодействия между научным объяснением и антропологическим пониманием, точной методологией и герменевтикой, в которой главную роль играет как раз нарратив, безусловно, необходимо. Тем самым со всей определенностью отводятся возможные подозрения и критические упреки насчет попытки вытеснения традиционных ценностей исторического исследования интригующими подходами, принятыми в исторической литературе научно-популярного толка. Задача современного историка – не атаковать аналитические ценности рационализма, сталкивая их с ценностями индивидуального истолкования и переживания истины, и

не защищать ценности науки от постмодернистских нападков. Когда исследователю противостоит вполне определенная фактология и время, которое ее породило, вопрос о предмете изучения переводит общие темы методологии в строгие рамки границ изучаемых явлений. И вот как раз в связи с этими границами возникают некоторые следствия, требующие специального рассмотрения.

В каких формулировках возможно определение предмета исторического исследования, кроме указания его временных и фактологических границ? Если задача историка – дать именно отчет о событиях и не более того, то цель его усилий – создание свидетельств, т. е. формализованных и отвечающих критериям достоверности описаний. Но тогда предметом его труда становятся наррации – и те, на которые он опирается, и те, что выходят из-под его пера во всей совокупности интерпретирующих вариаций. Самоценность описаний в данном случае не подлежит сомнению, как и уникальность их исторического содержания.

Если же в задачу входит поиск закономерных связей, выделяющих главную тенденцию времени и отсекающую от нее все второстепенное, то объяснительные и прогностические подходы историка должны быть существенным образом пересмотрены. Здесь придется пожертвовать уникальностью индивидуального толкования в пользу некоторых объективаций прошедшего, приведенного в соответствие с понятием исторической необходимости. Тем самым усиление предсказательной силы истории через упрочнение понятия факта, его очищение от налета содержательных интерпретаций из области возможного неизбежно ведет и к упрочению понятия исторического закона и связанной с ним неизбежностью исторического пути. Предметом исследования становится не только цепь событий, но и, так сказать, заранее подразумеваемая способность этих событий сгруппироваться не только хронологически, но и логически, в соответствии с необходимым действием предварительно обнаруженного обществен-

ного закона. И здесь намечается новый методологический разрыв: историцизм, исходящий из вышеописанных понятий о своем предмете, неизбежно противопоставит феноменологическому утверждению о несоизмеримости представлений о ценностях и смысле происходящего в разные исторические эпохи ... рационалистическую идею прогресса в истории, выводимую из ее законов! Однако в любом случае предметом истории в обобщенном плане можно считать некий опыт, воспроизводимый в сознании исследователя. И о содержании этого опыта стоит сказать несколько слов.

Бесспорно, от решения, что именно следует вложить в так называемый исторический опыт, будет зависеть и точность, и глубина выводов историка. Именно в этом ракурсе и продолжим анализ заявленной альтернативы: «дискурс или нарратив?». Рационалистически ориентированная философия истории стремится к обоснованию двух взаимосвязанных позиций:

- *первое*: исторический опыт непрерывен и бесконечен, теряется в глубинах прошлого и через свое современное состояние простирается в будущее. Очищенный от первичной эмпирики и затем осознанный в качестве бесконечной интеллигибельности, он обретает собственную целостность и предметность, образуя в числе прочего известное представление об исторической темпоральной ленте. Что же касается изучения отдельных исторических периодов, то речь должна идти о выделении «фрагментов» исторического опыта при условии, что свойство целостности и бесконечной перспективности неустранимо и постоянно мыслится в качестве системообразующего контекста, определяющего главные принципы интерпретации любой части истории. Тем самым бесконечность опыта признается существенным свойством его историчности;

- *второе*: опыт как нечто рационально осмысленное должен соответствовать некоторым критериям рациональности, которые, собственно, и образуют «выжимку» из сырого материала событий. К сожалению,

то, что не попадает в обозначенные рамки, отсекается сурово и подчас непредусмотрительно. Например, Коллингвуд в своей фундаментальной «Идее истории» неоднократно подчеркивает, каким *должен быть предмет истории* и что *должно образовать содержание исторического опыта*. Однако эта форма долженствования, повторяющаяся в тексте с навязчивостью императива, вызывает подозрение, что автор, анализируя прошлое, готов бесконечно ревизовать его содержание — выводимый из него исторический опыт — и, кажется, сам решает, что из жизненного потока следует, с его точки зрения, считать историей, а что нет. Не удивительно, что при таких исходных посылах Коллингвуд настойчиво и даже несколько многословно отрицает историческую ценность личного свидетельства, мемуарной и биографической литературы: «Но это не история. И описание индивидуального опыта с его потоком ощущений и чувств, заботливо сохраненных в дневнике или достоверно воспроизведенных в мемуарах, также не история. В лучшем случае это поэзия, в худшем — навязчивый эгоизм»<sup>10</sup>.

Кажется, за этим страстным отрицанием индивидуального опыта кроется твердая вера в рациональность бытия, основанная на тотальном детерминизме, который и порождает учение об объективной, обязательной, но безличной взаимосвязи событий. Но история культуры, как, в прочем, и любая история, во многом определяется действием сил духовных, она восходит к самому сокровенному в человеке — к его способности творить, совершать поступки, исходя из соображений, возвышающихся над прагматическими и утилитарными мотивами. И вряд ли можно отрицать, что между этой логикой всеобщей систематики, «стягивающей» любую конкретику вокруг неких основополагающих рациональных принципов, с одной стороны, и логикой описания, реконструирующей, если это оказывается возможным, черты всеобщего из каждой локальной культурной традиции, — с другой, имеется очевидный раз-



рыв. Его зияющие пустоты как раз и заполняются опытом, осуществляемым «здесь и теперь», а также опытом рефлексии отображаемого времени и его событий, запечатленных в соответствующих текстах. Немалую долю прелести этого непосредственно опыта образует его конечность и незавершенность. Вовсе не обязательно, что опыт окажется результативным или не будет по каким-либо причинам оборван. Знакомство с ним вовсе не гарантирует, что он обернется отчетливой тенденцией, в которой отразится искомое всеобщее; в нем ничего неизвестно наперед, хотя из преодоления этой неизвестности и складывается бытие.

Рационально систематизированный опыт уже безмолвен, его не о чем спрашивать, поскольку он состоит из готовых ответов. Опыт рефлексивный, запечатленный в нарративе, напротив, актуализируется энергией вопрошания. Историк обращается к нему, пытаясь понять его подлинные глубины. В них кроются нереализованные возможности исторического процесса, упущенные, незамеченные, непосильные или вовсе невидимые в соответствующие времена из-за своих чрезвычайно скромных, либо, напротив, гигантских масштабов. Причем, далеко не все эти потенциальные пути истории отражают основное положение рационалистических абсолютов о цели и смысле исторического процесса. Но именно в этой сфере сосредоточена проблематика творческой самоидентификации поэтов, художников, композиторов. Именно здесь обнаруживаются тонкие и подчас весьма противоречивые сплетения событий, интересов и творческих инициатив, важных для истории культуры, составляющих ее суть и наполняющих ее жизнью в каждый момент времени. В разноголосице мнений и многотрудности дум творцов музыки история художественного процесса лицом к лицу встречается с мудростью вечных тем, складывающих фундамент культуры, незыблемый, несмотря на разрушительное воздействие времени.

Осталось сформулировать немного. Намеренно обостряемые подходы к исто-

рии, отраженные в тексте вместе с наиболее характерными и значительными противоречиями, ведут к мысли о том, что достоверность исторического знания сама по себе является нерешенной проблемой. В известном смысле это действительно так, и неистребимый скептицизм, пустивший глубокие корни в области исторической критики, наглядное тому свидетельство. Однако, затрагивая весьма болезненную тему критериев истинности в труде историка, не хотелось бы сводить ее к банальным рассуждениям. Привычные аргументы о значении практики, которую многочисленные разновидности диалектических подходов наделяют исключительной ролью в деле определения истины, равно как и доводы о преимуществах конкурирующего критерия, выраженного в принципе верификации, на наш взгляд, не столь уж эффективны.

Отчасти это подтверждается вполне очевидным соображением, что расхождения между сторонниками трансцендентальных версий концепции истины, признающих очевидность аксиом познавательного процесса вполне достаточной гарантией их истинности, и сторонниками формалистических теорий, трактующих аксиоматику как хорошо согласованные конвенции, невольно свидетельствует о двусмысленности этих самых аксиом познания. Но общим для всех подобных взглядов будет утверждение о наличии готовых и независимых от исследователя методов проверки соответствия его выводов действительному положению вещей.

В историческом исследовании все усложняется. Критерии верификации теряют смысл, поскольку к событиям прошлого не применимы по естественным причинам, а практическая ценность знания, выводимого из исторического опыта, постоянно подвергается критике и вполне обоснованным сомнениям. Наконец, объективистский подход к критериям исторической истины не может быть всеобъемлющим и по иным соображениям, а именно в связи с личными мировоззренческими и ценностными позициями самого ученого. Ведь в конечном

итоге историк руководствуется своими критериями достоверности, сам определяет релевантность доступных ему источников и выводов, полученных в ходе дискурса. И в этой связи возникают иные, хотя тоже весьма проблематичные коллизии критерия истинности в труде историка. С одной сторо-

ны, они окрашены сильным влиянием эмпиризма, с другой же — представляют на суд читателя не столько гарантии, удостоверяющие подлинность свершившегося, сколько формулируют критерии допустимого, придающего прошлому необходимый смысловой объем и многозначность.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мулуд Н. Анализ и смысл. — М.: Прогресс, 1979. — С. 40.

<sup>2</sup> Quine W.van O. Word and object. — Cambridge: Mass., M.I.T. Press, 1960.

<sup>3</sup> Речь идет о широко известной работе О. Сулейменова Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. — Алма-Ата, 1975.

<sup>4</sup> Цитируется по статье Д. Лихачева: Догадки и фантазии в истолковании текста «Слова о полку Игореве». (Заблуждения О. Сулейменова) // Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л., 1978. — С. 313.

<sup>5</sup> Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л.: Худож. лит, 1978. — С. 313—314.

<sup>6</sup> Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. — М.: Наука, 1980. — С. 235.

<sup>7</sup> Мулуд Н. Указ. соч. С. 200.

<sup>8</sup> Имеется в виду издание: Музыкальная культура Сибири: В 3 т. — Новосибирск, 1997.

<sup>9</sup> Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — СПб.: Ювента Наука, 1999. — С. 55—56.

<sup>10</sup> Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 291.